

П Д Боборыкин

Творец 'Обломова'

Боборыкин П Д
Творец 'Обломова'

П. Д. Боборыкин
ТВОРЕЦ "ОБЛОМОВА"

(Из личных воспоминаний)

Время летит. Не успеете вы оглянуться, и живые люди уже перешли в царство теней. Летит оно в последние годы с такой же предательской быстротой, как для тех, кто должен высидывать месяцы и годы в одной комнате; а с ним стусевывается в памяти множество фактов, штрихов, красок, из которых можно создать нечто, или - по меньшей мере - восстановить.

Давно ли умер И. А. Гончаров? Настолько давно, что в нашей печати могло бы появиться немало воспоминаний о нем. Их что-то не видно. Не потому ли, что покойный незадолго до смерти так тревожно отнесся к возможности злоупотребить его памятью печатанием его писем? Этот запрет тяготеет над всеми, у кого в руках есть такие письменные документы. Недавно сделано было даже заявление одним писателем: как разрешить этот вопрос совести и следует ли буквально исполнять запрет покойного романиста?

Здесь мы не станем поднимать вопроса -

принципиально, разбирать, составляют ли письма собственность того, кто их писал, или того, кому они адресованы. На Западе, в особенности во Франции, частные люди, даже совсем неизвестные, гораздо щекотливее по этой части. Но с развитием репортерства и рекламы наступило царство всякого рода нескромностей. Не помню, однако же,

чтобы кто-нибудь из известных писателей, ученых или политических деятелей на Западе, сходя в могилу, наложил такой точно запрет, и у нас это, сколько мне кажется, первый случай.

Как ни почтенно желание каждого, у кого имеются письма первоклассного писателя, исполнить его предсмертную волю, но не пожалеть об этом трудно. Правда, опыт последних годов показал, что печатать без выбора все, что сохранилось из переписки хотя бы самого знаменитого человека, значит оказывать медвежью услугу его памяти. Однако сколько же писем нельзя не считать драгоценными не только для знакомства с натурой и судьбой писателя, но и для фактического изучения его эпохи? В самое последнее время

стали появляться целые серии писем передовых русских людей 30-х и 40-х годов. Есть, например, заграничный сборник (который мог бы появиться и в России) писем двух крупных личностей: одного романиста, другого ученого и общественного деятеля, к их другу, умершему за границей, с которым оба они должны были разойтись по некоторым, тогда жгучим, вопросам и принципам. И если б тот и другой воззвали к своим современникам с таким же запретом, как Гончаров, - драгоценнейший эпизод из истории нашего общества был бы потерян для потомства.

Но воспоминания - дело личное. Это собственность каждого из нас, самая коренная и неоспоримая. И было бы чрезвычайно приятно видеть поскорее в печати все то, что об авторе "Обломова" знали и слышали его современники фактического, свободного от всякой ненужной примеси.

II

До 1870 года я не был знаком с Иваном Александровичем; кажется, даже не видал его нигде: в обществе, в театре, на заседании или на каком-нибудь публичном чтении.

Первые пять лет 60-х годов я провел большею частью в Петербурге, принадлежал уже литературе, даже профессионально издавал большой журнал в течение двух с лишком лет, посещал всякие сферы и слои общества и все-таки не встретился с Гончаровым. Не помню, обращался ли я к нему письменно с просьбою о сотрудничестве. Скорей не обращался; вероятно потому, что тогда сложилось уже мнение о том, как он медленно и редко пишет, так что бесполезно к нему и обращаться. А последние пять лет того же десятилетия я провел за границей с одним только приездом в Москву, где прожил с лета до зимы 1866 года.

К маю 1870 года перебрался я из Вены в Берлин перед войной, о которой тогда никто еще не думал ни во Франции, ни в Германии. Между прочим, я состоял корреспондентом тогдашних "Петербургских ведомостей", и их редактор, покойный В. Ф. Корш, проезжал в то время Берлином. Там же нашел я моего товарища по Дерптскому университету, тоже уже покойного, Владимира Бакста - личность очень распространенную тогда в русских

кружках за границей; с ним я еще студентом, в Дерпте, переводил учебник Дондерса.

В Hotel de Rome, где я обедал за табльдотом, нашел я целое русское общество: племянника В. Ф. Корша и его двух молодых приятелей" слушателей Берлинского университета: сына одного знаменитого хирурга и брата второй жены этого хирурга. Душой кружка был Бакст, прекрасно знакомый с Берлином и отличавшийся необыкновенной способностью пленять русских высокопоставленных лиц. Его приятели называли это "укрощением генералов".

Это молодое общество прозвало само себя "бандой" и проводило время всегда вместе, устраивало у себя русские чаепития; по вечерам и даже по ночам посещали всякие характерные места Берлина.

Вот эту "банду" и полюбил И. А. Гончаров, проживавший также в Берлине как раз в то время. Он, вероятно, отправлялся на какие-нибудь воды или на морские купанья, но не торопился туда ехать Берлин ему нравился, и он проводил время, с обеда, почти исключительно в обществе "банды", к которой

и я должен был пристать Но наша встреча произошла не в Hotel de Rome за табльдотом, а на улице Под липами, когда члены "банды" отправлялись с ним на прогулку в Тиргартен.

Обед в Hotel de Rome считался самым лучшим, и наши веселые ребята постоянно звали Гончарова обедать с ними. Он жил Под липами, в существующем до сих пор Britisch Hotel.

- Иван Александрович, - повторяли они ему, - ведь вы сами говорите, что еда у вас не первый сорт; так зачем же вы там обедаете? Да лучше бы вам и совсем переехать в "Рим", где цены такие же, а комнаты и стол к сравнить нельзя?

- Вы правы, друзья мои, - кротко отвечал им каждый раз Гончаров, - но, видите ли, как же я тогда буду проходить мимо Britisch Hotel'я. Хозяин может стоять на крыльце, увидеть меня. Я не могу этого сделать Как хотите!

Этот штрих был и тогда уже чрезвычайно характерен для автора "Обломова". Для него стоило великих усилий решиться на что-нибудь такое, что может поставить его в неловкое положение. Про эту преобладающую черту его натуры и воспитания мне много рас-

сказывал автор "Тарантаса", граф В. А. Соллогуб, еще в последние годы моего учения в Дерпте. Он хорошо знал Гончарова с самых первых его шагов как писателя, и у него было несколько забавных рассказов: как Иван Александрович тревожно охранял свою неприкосновенность, боясь пуще огня как-нибудь себя не скомпрометировать. Но мы и тогда, студентами, не очень доверяли автору "Тарантаса", его рассказам и анекдотам, обличавшим почти всегда слабость к красному словцу.

На тротуаре вблизи Britisch Hotel'я и познакомили меня с Гончаровым. До сих пор помню, с какой интонацией он повторил мою фамилию и своим мягким, приятным тоном прибавил вопросительно:

- Писатель?

И пошли мы всей "бандой" к Бранденбургским воротам, а оттуда в парк. Разговор сейчас же зашел именно о Тиргартене. Гончаров восхищался этим удобством: иметь под боком, в центре города, такую обширную и прекрасную прогулку. Дорогой было удобно оглядеть его.

Он показался мне очень похожим на тогдашние его портреты и смотрел моложе своих лет. Ему было уже под шестьдесят, так как он родился в 1812 году. Ходил он бодро, крупной походкой, сохранившейся до глубокой старости; седины очень мало, умеренная полнота, чистоплотно и старательно одетый, по тону и манерам не похожий ни на чиновника, чем он долго был, ни на артиста, ни на помещика, а скорее на типичного петербургского жителя, вроде образованного и воспитанного представителя какой-нибудь фирмы или человека, имеющего почетное звание в каком-нибудь благотворительном обществе.

Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жизни, облакался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных; но и тогда уже для того, кто ищет в крупных литературных деятелях подъема высших интересов, отзывчивости на жгучие вопросы времени, Гончаров не мог быть человеком, способным увлекать строем своей беседы.

Через несколько дней на вечернем чае все той же "банды" он очень долго рассказывал нам о своей собачке, оставленной им в Петербурге, и в этой исключительной заботе о ней видна была уже складка старого холостяка, привыкшего уходить в свою домашнюю обстановку.

Нежелание первому задевать вопросы литературы и общественной жизни, осторожность и чувство такта препятствовали Гончарову сразу придавать разговору чисто писательский оттенок. Но если вы наводили его на такие темы, он высказывался всегда своеобразно, говорил много и без всякого неприятного личного оттенка, за исключением щекотливых пунктов, которые рискованно было задевать с ним.

III

В Петербурге в половине 70-х годов мне привелось провести вечер с Гончаровым в одном редакторском доме *. Хозяин и хозяйка хотели воспользоваться посещением такого видного гостя, и в обширной гостиной, где собрано было много дам, произошло повальное представление литературной знаменитости

всех присутствующих. Тут еще яснее можно было распознать одну из основных черт натуры и душевного склада Гончарова. Его должно было очень коробить оттого, что хозяева заставили его играть роль крупнейшего литературного сановника. Довольно сильное сознание своего писательского "я" было у него соединено не только с боязнью

всякой неловкости, всякого щекотливого положения, но и с застенчивостью, какую до смерти в большом обществе имел и Тургенев. Помню очень 'хорошо, что Гончаров на этом же вечере воспользовался первой же возможностью, чтобы уйти в залу, где начались танцы, и стать там в сторонке.

Прошли целые пять лет с нашей встречи в Берлине, и мы разговорились. Он немного постарел за это время, но был еще очень бодр и представительен, с той же свободной, красивой речью. Свою писательскую карьеру он начинал уже считать поконченной, изредка появляясь в печати с вещами вроде его статьи "Миллион терзаний", где его ум, художнический вкус и благородство помыслов вылились в такой привлекательной форме.

У меня никогда не было привычки, встречаясь с писателем, от которого ждут всегда нового и крупного, спрашивать: чем он "подарит" публику? И я знал уже, что Гончаров не любил таких вопросов. После "Обрыва", напечатанного в конце 60-х годов, он вправе был огорчаться тем, что в тогдашней критике произведения его не оценили как следует. Непонимание и выходки рецензентов очень часто заслоняют от самого писателя тот прием, какой оказывает ему масса публики. Так было в значительной степени и с "Обрывом". На роман накинута вся тогдашняя грамотная Россия. Известно было, что печатание его в "Вестнике Европы" привлекло особенный интерес и к самому журналу.

Этот роман и в особенности лицо Марка Волохова для будущего биографа-психолога-поворотный пункт в душевном настроении Гончарова. В литературных и светских кружках Петербурга давно ходили толки о том, что автор "Обрыва" заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него замысла лица Базарова, так как его собственный нигилист был им задуман

давно, раньше появления "Отцов и детей". И в начале 70-х годов эта идея особенно сильно бродила в его душе. Ближайшие его знакомые в разное время передавали мне подробности о взрывах этого живучего подозрения, которое питалось, вероятно, всем складом жизни Гончарова, жизни старого холостяка, привыкшего перебирать в себе на всевозможные лады малейшую подробность в своих человеческих и писательских испытаниях и впечатлениях. Поэтому собеседник, знавший про такой болезненный пункт его души, должен был всегда держаться настороже и лучше совсем не упоминать о некоторых именах и книгах. Я слышал от тех же лиц, что, к половине 70-х годов писательская подозрительность все в том же направлении дошла до того, что Гончаров видел во многом, выходявшем тогда из-под пера парижских натуралистов, приятелей Тургенева, подкопы под него; находил у них даже свои сюжеты и замыслы лиц.

Я вполне уверен, что те, от кого мне пришлось не раз узнавать про это, передавали фактически верно все слышанное ими в раз-

говорах с автором "Обрыва"; но мне лично не привелось ни в Берлине в 1870 году, ни в Петербурге пять лет спустя, ясно и отчетливо схватить проявления такого характерного писательского аффекта.

Вот хоть бы на том вечере, который остался у меня довольно отчетливо в памяти, мы разговаривали долго, задевали, сколько помню, и литературные темы; но мой собеседник говорил обо всем сдержанно, изящно, без всякого неприятного, болезненно-нервного оттенка, какой, например, сейчас же сказался бы у Достоевского.

Хотя Гончаров не любил ничем щеголять в разговоре - ни остроумием, ни глубокомыслием, ни блестящей образованностью, но когда он был в духе, его беседа стояла совершенно на уровне такого писателя, каким он считался. Несмотря на щепетильность и осторожность его натуры, он цельно, искренно и своеобразно высказывался обо всем, что составляло его человеческое и писательское *profession de foi*¹. Ни малейшей уступки красному словцу, превосходный, как художник сказал бы, сочный тон в рассказе, в описании, в диалек-

тике, с тем оттенком приятного резонерства, какой проник и в лучшие его произведения.

Лично я не могу сказать, чтобы и в эти встречи, и впоследствии, когда мы видались очень часто, он вызывал на более задушевный разговор, интересовался бы, над чем вы работаете в данную минуту. Вероятно, это происходило прежде всего от сильно развитого чувства такта и осторожности, мешающей в какой бы то ни было форме касаться личных дел, мыслей, интересов своего собеседника. Зато с этим литературным сановником всякому, самому молодому литератору - повторяю опять: когда он был в духе - говорилось легко. Вы не слышали ни покровительственного тона, ни генеральских советов; вы не чувствовали и большого расстояния между собой и этим знаменитым представителем старого поколения. Вы стояли с ним на одной и той же почве на почве общечеловеческой и культурной любви к образованию, науке и нравственным идеалам. Вы вперед видели, что если бы к этой знаменитости, знающей себе цену, обратились вы в разговоре или в письме как писатель, он ответил бы вам, как

равный равному, говорил бы или написал бы письмо содержательно и приятно, без сладости и без рисовки.

Гончаров, и часто встречаясь с вами, писателем моложе его и скромнее по своему положению, не имел привычки привлекать вас тем, что интересуется вашей последней "вещью"; но в его тоне вы распознавали достаточное литературное знакомство с вами, как бы не требующее никаких особенных заигрываний.

Меня всегда интересовал вопрос: как крупный писатель-художник работает, как ему дается то, что называется письмом, пошибом. Автор "Обломова" давно уже, с самого появления этого романа, считался сам Обломовым. Про него все уверенно говорили как про человека, чрезвычайно ленивого и, главное, кропотливого. Это поддерживалось тем, что он выпускал свои произведения в такие пространные промежутки; не сделал себе привычки писать постоянно и сейчас же печатать написанное.

Ленивой никак нельзя было назвать его натуру. Осторожной, склонной к мнительно-

сти и постоянному передумыванию известной темы - да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя. Голова постоянно работала, и две трети жизни прошли у Гончарова на службе, то есть в привычках так или иначе занятого человека. Да и в смысле чисто физическом, мышечном, он до глубокой старости сохранил очень бодрые привычки, был испытанный ходок и уже за семьдесят лет с постоянным катаром и одышкой, если только был на ногах, ходил пешком обедать с одного конца Петербурга на другой, с Моховой на Мойку. И психически он склонен был к душевному возбуждению, что беспрестанно сказывалось в его разговоре. Человеку, даже мало знавшему его, легко было предположить, что в писательской работе он вряд ли вел себя как апатический фламандец, как истый сын Обломовки.

В преклонных летах обратился он к русскому читателю с своей исповедью "Лучше поздно, чем никогда", где и рассказал историю развития своего творчества. Такие документы чрезвычайно драгоценны, и ими недостаточно пользуется критика. Но в этой вещи

Гончаров не входил в подробности, которые ему казались бы в печати недостаточно скромными и интересными для читателя. И задолго до появления его статьи, написанной уже за немного лет до кончины, мне привелось услышать от него одну весьма ценную подробность о том, как писался "Обрыв". Это было, кажется, еще во время прогулок наших по Берлину.

Последнюю часть "Обрыва", задуманного им так давно, он писал за границей, на водах и, если хорошо помню, - в Париже.

- Целыми днями писал я, - рассказывал он, - с утра до вечера, без всяких, даже маленьких, остановок, точно меня что несло. Случалось исписывать целый печатный лист в день, и больше, и так быстро, что у меня делалась боль в пальцах правой руки, и я из-за нее только останавливал работу.

Припомните, что это было во второй половине 60-х годов. Так мог работать человек за 50 лет, в душной комнате отеля. Подобная порывистая и энергическая работа немислима для пассивной натуры, и она же показывает, что в деле стили, пошиба можно достичь ма-

стерства, яркости и красоты формы совсем не одним только корпением над выбором существительных и прилагательных, каким страдал Флобер. В "Обрыве" общий замысел и отдельные лица подвергались критике; но язык почти везде так же хорош и колоритен, как и на лучших страницах "Обломова".

IV

Время подползло к 80-му году. После лечения на немецких водах приехал я в первый раз на наше Балтийское взморье в Дуббельн, около Риги. Тогда это купальное местечко только что завело у себя благоустроенный акционерный кургауз, и купальщички Петербурга, Москвы и провинций потянулись туда.

Поселившись в акционерном доме, я сразу очутился среди знакомых русских. Там проводил лето на маленькой дачке около самого кургауза и Гончаров. Это был, кажется, не первый его приезд на Балтийское побережье, которое он очень полюбил, и с тех пор часто ездил, настолько часто, что теперь улица, ведущая от акционерного дома по направлению к следующему местечку, Майоренгоф, названа Гончаровской. Вместе с одним общим доб-

рым знакомым мы составили маленький кружок и обедали на террасе кургауза, по вечерам ходили по Штранду (как там называют побережье) и вели продолжительные разговоры.

Тогда Гончарову было уже 68 лет; но он совсем не смотрел дряхлым старцем: волосы далеко еще не поседели, хотя лоб и обнажился, в лице сохранялась еще некоторая свежесть, в фигуре не было еще старческой полноты; ходил он очень бойко, все тем же крупным энергическим шагом, держался прямо. Только голос стал слабее, и тогда уже начал он жаловаться на катаральное состояние дыхательных путей; жаловался и на болезнь глаза, которая в скором времени обострилась, причиняла ему впоследствии сильнейшие боли и кончилась потерей зрения в этом больном глазе. Болезнь эта была внутренняя, болезнь зрительного нерва и сетчатки.

Все это пришло позднее, а тогда он был еще довольно смелым купальщиком и беседа его отличалась живостью и разнообразием. Большой возраст сказывался иногда во внешних вспышках раздражения, хотя каждый

из его собеседников старался о том, чтобы не произносить при нем некоторых имен и не заводить речи на известные темы, которые могли сделаться щекотливыми.

Вообще, Гончаров держался и тогда широкого и благожелательного отношения к нашей беллетристике и к молодым писателям. Личных нападков он избегал, не позволял себе и в то время того, что мы называем литературным генеральством. В нем каждый молодой его собрат мог видеть необычайно цельное мировоззрение художника, который никогда, однако же, не оставался равнодушным к высшим запросам морали и человечности. Этот писатель с полным правом мог с своей авторской исповедью "Лучше поздно, чем никогда" позволить себе возглас о бесплодии словопрений, вращающихся около формулы искусство для искусства. Бездушным эстетиком, конечно, он никогда не бывал, но в нем жил пушкинист чистой воды, испытавший в ранней молодости обаяние нашего великого поэта, доходившее в людях его поколения до настоящего культа.

Если сравнить его беседу с тем, что давал в

разговоре прямой его соперник Тургенев, то получится значительная разница. Тургенев любил искусство не менее, чем Гончаров, и его коробила тенденциозность нашей критики, тот загон, в котором вообще находились тогда художественные запросы; но разговор Тургенева носил часто слишком анекдотический характер; в нем было больше ума, остроумия и очистительной критики, направленной на людей, чем цельности чувства, проникающего крупного художника, высокой преданности своему делу. За последние 10-12 лет своей жизни Тургенев говорил о собственной писательской работе изредка, как бы нехотя, постоянно оговариваясь, что он пишет мало и редко и смотрит на то, что пишет, как на вещи, к которым совсем не следует относиться с такими требованиями, какие раздавались тогда. Почти всегда, даже в более задушевной беседе, у него был тон усталого и скептического знатока литературы, желающего оградить свои ощущения от ненужной тревоги. Конечно, в нем могла сказываться и горечь непонимания, оставшаяся от травли, какую критика устроила когда-то роману "Отцы и

дети", но ведь и Гончаров тоже был вправе считать себя обиженным всем тем, что было в отзывах об "Обрыве" резкого, а иногда и прямо враждебного.

И несмотря на это, в Гончарове до последних лет его жизни сидело очень цельное чувство писателя-художника. Он смотрел на себя уже как на ветерана, не решался задумывать и выполнять большие произведения; но как только заходила речь на какую-нибудь общую художественно-литературную тему, он высказывался всегда в тоне искренней преданности задачам творческой литературы. Тогда в нем слышался не петербуржец-холостяк с душевными странностями, не отставной крупный чиновник, не литературная знаменитость, знающая только свое генеральское "я", а писатель, долгие годы воспитывавший в себе любовное и почтительное отношение к изящной литературе, ее задачам и идеалам.

Такой Гончаров мог быть очень приятен в беседе и семидесятилетним стариком. Слушая его в то первое лето, которое мы проводили вместе в Дуббельне, я частенько забы-

вал совсем о главном щекотливом пункте, которого рискованно было касаться, то есть о Тургеневе. Не помню, случилось ли мне проговориться, - помню только чрезвычайно отчетливо часть нашего разговора, бывшего тотчас после обеда в парке акционерного дома, и где Гончаров сам, говоря о способности писателя к захватыванию в свои произведения больших полос жизни, выразился такой характерной фразой, и притом без малейшего раздражения:

- Возьмите вы, например, Тургенева. Он вам представит ряд прелестных картинок. Перед вами будет сад, полный цветов и красивых растений. Но большого английского парка он вам не разобьет!

Это было сказано четыре года спустя после напечатания самого обширного романа Тургенева "Новь". Не знаю, согласятся ли многие с таким определением. В нем, однако ж, не сквозило никакой неприятной ноты.

И в течение всего лета мне не привелось выслушать от Гончарова какую-нибудь диатрибу, направленную на своего соперника.

Зато несколько раз бывали за обедом и во

время прогулок по берегу моря вспышки раздражения уже с некоторым оттенком старчества - и всегда почти против французского натурализма, романов Золя и его школы. Гончаров не отрицал в них таланта; но и не мог беспристрастно оценить то, что они внесли с собою в дело художественного изображения современной жизни. Тут чувствовалась, быть может, и особенная подкладка, но протест против крайностей натурализма вскипал в нем, вероятно, и помимо всякого личного чувства, как в писателе старых традиций, проникнутом большой целомудренностью художнического чувства. Его возмущало тогда и промышленное направление западной беллетристики, в особенности французской. Попадая на эту зарубку, он легко раздражался.

- Ведь, что горько, - говорил он раз, тоже на берегу моря, - кабы они были бездарности... А то возьмите вы хоть какого-нибудь Габорио. Ведь у него талант есть, но он животное! Раз попал в жилку, привлек публику и пошел валять, без стыда, без совести!

Все лето 1880 года Гончаров чувствовал себя прекрасно, был чрезвычайно общителен,

приглашал нас и к себе завтракать в мезонин той дачки, где он жил. Вернувшись в Петербург, он продолжал свои беседы в нескольких письмах, которые я получил от него в Моевке. Хотя в них не было ничего сколько-нибудь щекотливого для его памяти, а, напротив, много доказательств того, как он симпатично и даровито писал письма более интимного характера, я воздержусь от напечатания их в этом очерке.

Еще два раза встречались мы на том же Балтийском побережье, но жили в разных местах и видались гораздо реже. Тогда уже Гончаров стал страдать глазом и припадками болезни легких. Он как-то сразу превратился видом в старца, отпустил седую бороду, стал менее разговорчив, чаще жаловался на свои болезни, жил на Штранде больше для воздуха, чем для купанья. Его холостая доля скрашивалась нежной заботой о чужих детях, которых он воспитал и обеспечил.

За последнее десятилетие мне привелось навещать его и в Петербурге, в его квартире на Моховой, куда доступ делался все труднее и труднее. Коренные душевные особенности

всплывали тогда гораздо яснее в разговоре, и надо было всегда заботиться о том, чтобы не навести его на какую-нибудь щекотливую тему. Старчество людей с громким именем сказывается всего чаще в беспокойном тщеславии, которое заставляет человека беспрестанно говорить о том, чем он прославился. У Гончарова преклонный возраст проявлялся скорее в болезненном ограждении себя как человека и писателя решительно от всего, что могло бы поставить его в какое-нибудь ответственное положение перед публикой и критикой. Но творческий инстинкт не замирал в нем почти до самых последних дней, и уже семидесяти пяти лет он мог еще художественно изображать типы прислуги крепостного времени.

Последняя наша встреча была все-таки же на берегу моря, по дороге из Дуббельна в Майоренгоф, тихим летним вечером.

1892 год.

"Русские ведомости", 1892, №339, 8 декабря
1 мировоззрение (франц.).